

НИКИТА КОРОЛЁВ

ДОМ ПРЕЗРЕНИЯ

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Никита Королёв

Дом презрения

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Королёв Н.

Дом презрения / Н. Королёв — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Никто в Доме не чувствует себя как дома. Его сотрудники — неудавшиеся писатели, кабинетные романтики, его гости — живые призраки, оказавшиеся на обочине жизни. Что оставят они после себя: искру вселенского счастья, гениальное искусство или только ворох скучных бумаг? В надежде на нечто большее они ушли из-под призора насущного и мелкого. Но там, где кончается призор, начинается презрение — Дом презрения. Содержит нецензурную брань.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пара слов о нас | 5 |
| Бог на земле | 6 |
| Путешественник | 11 |
| Не оборачивайся | 14 |
| Стекло | 17 |
| Дело №3,14 | 25 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 35 |

Никита Королёв

Дом презрения

Пара слов о нас

Учреждение, где я работаю уже большую часть жизни, зовется Службой по поимке и распределению девиантных личностей (СПРДЛ). Очевидно, аббревиатура эта не отличается особой благозвучностью, поэтому в народе нас прозвали намного короче – Дом презрения. Если вкратце, сюда свозят всех шизиков, полоумных, фриков, чудаков и прочих дневных лунатиков, еще не успевших загреметь в психушку, но, к своему несчастью, уже наворотивших дел. После доставки здесь они проходят дознание, тесты на вменяемость, отсюда же катаются по неврологическим центрам, а после – их либо наряжают в белые пижамы и спроваживают за мягкие стены, либо отправляют на суд как обычных преступников. В общем, наше заведение служит чем-то вроде глухого тамбура, чтобы пассажиры не выскакивали на ближайшей остановке под подписку о невыезде, пока ходят по вагонам имени Сербского, за которым в один момент оказывается либо мягкий, либо зарешеченный.

И пока взгляд еще не застелила пелена профессионального безразличия, не можешь не поражаться тому, как далеко (иногда в буквальном смысле) могут завести человека его иллюзии. Некоторые из наших подопечных делали такое, отчего кровь в жилах стынет до сих пор, но по-настоящему холодеешь от ужаса при мысли о том, что они ведь искренне верили в реальность охватившего их морока, потому что без веры совершить то, о чем пойдет речь дальше, попросту невозможно. Вера одного, как известно, называется шизофренией. Но также известно, что вера может сдвинуть землю с ее оснований. И я думаю, люди, когда-либо попадавшие к нам, были достаточно сильны, чтобы уверовать во что-то свое, потустороннее, прекрасное, но недостаточно расчетливы, чтобы продвинуть эту веру дальше своего внутреннего мира, где она, медленно, но верно учиняет апокалипсис. А когда соседи приходят на запах гари, когда огонь из тесной каморки, наконец, вырывается наружу, остается одно пепелище. Некоторые сгорают (причем тоже иногда буквально) еще до приезда наших оперативников. Таких мы называем *бумажными людьми* – только личные вещи, включая исповедь девианта в любом удобном для него формате, да бумажный след, ведущий в никуда. Большинство дел в нашем небольшом, но, уверяю вас, очень колоритном архиве состоят лишь из результатов вскрытия, рапорта сотрудника, занимавшегося делом, фотографий с места происшествия и каракулей самих виновников «торжества», разобрать которые представляется куда более трудным делом, чем даже произнести название нашей конторы.

Бог на земле

На одном из облаков сидит тот, кого принято называть Богом. Это не какой-то пыльный канон, сотни раз переписанный в зависимости от того, какую в это раз нужно собрать дань или с кем развязать войну. Но тот, кто сидит на облаке, безусловно, святой. Он святой, но не в том узком понимании затворничества и самоограничения. Он хранит святыню и святыня эта неприкасаема, но не потому, что ее нельзя касаться, а потому что к ней невозможно прикоснуться. И эта святыня зовется истиной. Ее нельзя изогнуть в такую форму, в которой она бы встала в слепую картину человеческого бытия, полную подпорок, костылей и деталей, игнорируемых по причине несоответствия, ведь тогда она станет чьей-то очередной правдой.

Рядом не льются чудесными мелодиями голоса нимф или ангелов, негде здесь расположиться саду с недостающим плодом на одном из деревьев и нет никаких золотых врат, увенчанных надписью «Рай». Облако это невозможно найти ни над головой, ни под ногами, да и само слово «облако» здесь – лишь условное обозначение неопишуемого и невообразимого места. Тут есть разве что стол с шахматной доской; Бог сидит перед ней и, конечно же, за белыми фигурами. По другую сторону, за черными, сидит тот, кого приятно называть Дьяволом. Что, спросите меня, они делают друг рядом с другом, при этом не развязывая вселенских войн и не борясь на огненных мечах? Почему между ними исключительно спортивное соперничество? Все просто – всякое зло, как и добро, относительно. Добро существует во зле, а зло – в добре, и как бы мы ни пытались искоренить из себя зло, забетонировав его в Люцифере, Гитлере, Кайне или другом злом парне, который уж точно хуже нас, зло и добро всегда будут необходимы друг другу, как два полюса, между которыми вибрирует реальность. И могучие существа, сейчас озабоченные расстановкой фигур, это понимают, как никто другой. Каждый раз, когда Бог проигрывает, он низвергает частичку своей сущности на Землю, в противном случае частичку себя отправляет Дьявол – таков уговор. И хотя Господу было с самого начала понятно, чем чреваты сделки с Отцом лжи, любовь к стратегическим играм одержала верх. И кто знал, что после двадцатого века нескончаемых поражений Дьявол прознает о явном недоверии к ферзю со стороны Бога и отыграется? Кто знал, что Дьявол такой мастер хитрости и обмана?

Из личного дела пациента:

Его нашли на кресте, сделанном из каких-то трухлявых досок, по-видимому, украденных со стройплощадки. Он поставил его посреди Патриарших и предпринял попытку самоличного распятия. Полицейские явились на место и сняли его, когда он уже пригвоздил к перекладине одну руку, правда непонятно, с чьей помощью он намеревался прибить остальные конечности. Чуть выше места, предназначенного для головы, нашли записку, прибитую к кресту. Текст ее приведен ниже:

«Еще ни разу за свою жизнь я не встретил человека, не ослепленного и не опьяненного. Если таковые и встречались, их опьянение и слепота начинались либо когда они попадали в среду себеподобных, либо когда разговор заступал на поле их личности, где я высказывал свою критику. Взгляд их тупел, а слова наливались желчью.

Но тут я встретил себя.

Понимаете, невозможно оставаться не самовлюбленным, глядя на этот бал бессознательности. Мы все родились актерами, потому что вокруг нас все играют. Под влиянием общественного актерского поведения и мы, не осознавая того, стали частью сцены. Но в один момент я заметил игру, притворство. Я увидел, что мы все играем и перестал играть, и мое поведение остальным начало казаться... странным. Общественное возделение массо-

вой моды, терпеливое высисживание с целью получения сугубо номинальной бумажки, резкое искажение поведения при контакте с остальными особями, массовые ценности и жизненные приоритеты, массовая культура, задевающая самые низменные струны внутри человека, уже в открытую играя на его инстинктах самовоспроизведения и превосходства. Они на полном серьезе считают себя неполноценными, не почитав определенные книжки, содрогаются перед ними. А ведь это лишь вымысел. Они засыпают под классическую музыку, считая ее хорошей колыбельной, либо же считают ее высшей материей, показателем высокого культурного уровня. Быть не хуже других, но при этом подчеркнуть свою индивидуальность. Жалко только, что ума хватает лишь на внешние атрибуты. Ими будто овладевает манящий порыв, перед которым они оставляют все, что бы они ни делали. Как собака, которую всего мгновение назад ты почесывал за ушком, но тут кто-то зазвонил в домофон. Нужно идти и истошно, бессмысленно лаять на открывающуюся дверь. Осознанность во взгляде пропадает, и ничто больше не напоминает о прошлом мгновении. И тебя это как-то... разочаровывает. Кажется, что с момента изобретения конвейера, он успел попасть даже в голову людям, и теперь мыслительная деятельность производится в автоматическом режиме. Теперь это серийный продукт, клепаемый на конвейере.

Родители единолично решили выгнать меня из дома за то, что во время нашего очередного «семейного» ужина, где на горячее подают лишь вопли о разводе и жаркое из упреков, я высказался, что они – лунатики, гнущие спину с тем, чтобы создать внешнюю видимость благополучия перед другими корчащимися в ночном кошмаре лунатиками; клоуны, изображающие любую эмоцию по щелчку директора Луна-парка, который, впрочем, правильнее было бы назвать лунопарком – чем-то средним между публичным домом и наркопритоном. Я сказал, что им не хватает волевых усилий на то, чтобы разобраться с непониманием и отсутствием взаимоуважения в семье, поменять работу, меня, наконец, подпустить к самостоятельной жизни, чтобы я не был в постоянной зависимости от них. Ведь дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, дай удочку, и он будет сыт всегда, и все в таком духе.

Знаете, что мне ответили? «Не видишь, сейчас взрослые разговаривают». Никогда не будет понимания между нами. И не пропасть идеологическая, историческая, политическая или культурная нас разделяет. Мы просто не утруждаем себя в обосновании того, что пытаемся впарить. Раз уж навязываешь, позаботься о том, чтобы человек, подчиняющийся тебе, не шел на неоправданные жертвы, переступая через свои принципы, чтобы твоя позиция показала убедительной, чтобы она виделась правильной. И аргументы из разряда «так принято», «так положено» не звучат убедительно для тех, у кого во главе ценностей не стоит поощрение в обществе тех, у кого «все как у людей». Отцы не утруждают себя объяснениями, а дети даже не стараются понять и поверить. Человек сначала должен поверить, а потом сделать, а не наоборот.

Та, кого я любил больше всего, одарила меня злобным взглядом еще в тот момент, когда я сказал, что вижу справедливость в том, что домашние животные стали бесполезным декором, а бездомные вытесняются плотной застройкой и вырубкой лесов – ведь, если бы человек на каком-то этапе эволюции не стал править балом, с ним бы непременно произошло то же самое. Человек просто пожинает плоды своего пути, а бродячие псы – своего.

Затем был еще эпизод в доме ее родных. Мы как-то приехали в гости к ее дальним родственникам по случаю их новоселья. У меня завязалась оживленная дискуссия с дедушкой, самым старшим и уважаемым человеком в семье и ее негласной главой. Разговор зашел об искусстве, и вначале он проходил, как это часто бывает, в формате лекции. Чаще всего после наших недоуменных взглядов на вопросы о том или ином деятеле искусства, звучала снисходительная фраза «ну, это же классика, это знать надо». На это в один момент я возразил тем, что искусство передает искаженное и не прикладное изображение действительности, и потому его главная задача – приносить эстетическое удовольствие, на время унося тебя за

пределы привычного миропорядка. Чрезмерно впечатлив человека, иногда элементы искусства начинают проникать в его повседневность, преобразяя ее, и меняя угол обзора. Знание того, что не имеет никакого отношения к действительности и может лишь радовать душу, не может повысить культурный уровень человека. Его осведомленность в культуре, почитаемой в обществе предыдущих поколений, не превозносит его над остальными – это могут делать только поступки. Я сказал, что искусство – это не поприще для демонстрации знаний.

Конечно же, после этих слов дальнейшее наше пребывание в гостях было крайне натянутым.

Когда мы пришли уже к ней домой, я сказал, что сегодня понял кое-что очень важное. Я не смогу жить в ритме ото сна до работы. Цикличность жизни меня убивает как рыбку, которую нельзя сажать в шарообразный аквариум, иначе она сойдет с ума. Я сказал, что не смогу жить и строить планы, опираясь на размер моего бюджета. Гонка за деньгами заставляет неосознанно делать низкие вещи, вести жалкую и неприглядную жизнь: приспособляться, протискиваться, пресмыкаться. Она спросила:

– Как же ты тогда хочешь жить, когда в один момент перестанешь жить за счет родительских денег?

Я ответил, что попытаюсь заработать тем, что мне нравится в этой жизни, что меня интересует: я постараюсь добиться публикации моих литературных работ в мелких изданиях. Этих денег будет не так много, но я смогу заниматься тем, что мне действительно нравится, а именно так лишь и возможно движение и развитие.

И тогда она сказала:

– Извини, но ты слишком мало знаешь, слишком мало пишешь. В любом, даже любимом деле, главное – пахать. Пахать как лошадь. Пахать как проклятый. Талант кроется не в особенно ровных штрихах и не особенно стройных стихах. Он заключается в умении пропахать тогда, когда закончилась мягкая почва, и за одним камнем идет второй, а за вторым – третий. Чтобы выполнять любимую работу, недостаточно быть просто решительным и отбросить рутину. Отринуть ее может каждый, но далеко не каждый сумеет освободенное время впрячь в непринужденный, но оттого еще более изнурительный труд. Сейчас, мягко говоря, не золотой век литературы. Даже самые популярные и востребованные писатели сейчас имеют весьма умеренные гонорары. Я думаю, сегодня в большой литературе едва ли найдется место для нового лица.

Ей не за что было извиняться, но после ее слов я почувствовал, что мне не хватает воздуха. Я утопал в своей беспомощности, в своей никчемности. Я ни в чем ее не виню. Она верит в меня, но просто-напросто хочет счастливой жизни для нас двоих, потому что она любит меня, но своей какой-то странной любовью. Любовью, которую мне никогда не понять.

Беспечные лица людей, их мир наивного неведения больше не кажутся мне добрыми. От них теперь веет злом тяготящего меня одиночества.

Я вышел в темноту вечернего города, прорезаемую лишь фонарным светом и оконными звездами. Моя футболка еще пахла ее волосами, но внутри меня уже пролился мрак тревожных мыслей о мрачном будущем. Тут мне позвонил редактор издательства, в которое я отправлял свои, на мой взгляд, самые удачные работы. Нашел я это издательство на одном форуме, где мытарствующие души в условиях победившего пластика обмениваются опытом и контактами; оно занимается публикацией совсем еще зеленого молодняка, так что я был почти уверен, что мне не откажут в публикации.

– Звонит вам редактор из «Астмо», по поводу ваших рассказов.

– Слушаю.

– Они, безусловно, хороши, у вас большой потенциал...

«Спасибо, автоответчик. Но...» – Но пока мы никак не можем опубликовать ни один из них, – выдохнули в трубке.

– Хорошо, и в чем же дело?

– Понимаешь... Извините, можно на «ты»?

– Да.

– Очень много болтовни. Слишком много. Событийно действие топчется на одном месте. Мало конкретики. Ты заостряешь внимание на мелких деталях и тонких психологических чертах. Но на глобальном уровне получается бессюжетный разговор на тему тленности бытия. Если писатель ведет за собой, то, когда я читаю твои вещи, у меня чувство, что ходим мы по девяти кругам известного места, и кончатся они не планируют. Понимаешь, я не вижу, к чему ты ведешь.

– Что ж, ладно, спасибо, что хотя бы перезвонили.

– Надеюсь... в общем, как будут новые работы, обязательно присылай – мы, правда, будем ждать.

Нет, меня это совсем не расстроило. Я просто чувствовал себя раздавленным и опустошенным. От прежнего желания творить остались одни ошметки, и написание даже одного слова представлялось невыносимой каторгой. Все сказанные мне вещи были правдой, но эта игра была на моем поле, куда заходить трудно всем.

Мне некуда было идти. Я остался без крова, любви, веры в себя – остался без смысла. И сейчас я сижу на мокром бордюре, омываемом дождем и окатываемом брызгами от проезжающих машин. Может я святой? Но святой не в том узком понимании, какое имеют все. Я храню святыню и святыня эта неприкасаема, но не потому, что ее нельзя касаться, а потому что ее невозможно коснуться. И эта святыня зовется истиной. Она неосязаемая, и жадные, зверские человеческие руки, тщетно пытаясь ее схватить, проходят сквозь. Истину нельзя изогнуть в такую форму, в которой она бы встала в слепую картину бытия человека, полную условностей и элементов, игнорируемых по причине несоответствия, – ведь тогда она станет чьей-то очередной правдой. Но люди не могут без чуточки лжи, щепотки лицемерия и повседневной слепоты, притупляющей потребность преобразить свою жизнь, вытаскивать себя из страшной пучины, в которую нас увлакивают компромиссы со злом. Эта некогда тяжкая ноша срослась с их телами, став необходимым для жизни панцирем. Так бактерии, еще в древности попавшие внутрь нашего организма, теперь незаменимы в пищеварении. Зачем на этой земле разросся росток человека, превратившись в ветвистое дерево? Он принес сюда весть о Боге и хулу на него, сострадание и жестокость, великую красоту и невыносимое уродство, чистоту и ее пятнание в грехе.

Надо мной по ночному небу плывет облако. Глядя на него со стороны, видишь в деталях каждый его пушистый изгиб, подмечаешь все совершенства этого хлопкового замка. Но как только ты заплываешь в него, все незаметно для тебя самого меняется. Пропадают всякие контрасты, формы и краски. Вот облако тебя уже обволокло, а вокруг – лишь туманная неопределенность. В этой монотонности трудно вести расчет расстояния, трудно что-то сравнить. Но потом ты выплываешь из облачной пелены и снова можешь различать угловатости и качества, чтобы непременно окунуться в другое облако. Как и жизнь, мы можем видеть облака только в предвкушении, либо оглядываясь назад. И залетаем мы всякий раз с намерениями, а вылетаем с результатами, на которые зачастую не удосуживаемся и оглянуться. И я пытался все предугадывать, оседлав жизнь, оседлав облако, но оно каждый раз сбрасывало меня, потому что оно неосязаемо. Его не перемудрить, и всякие амбиции, с которыми я готовился к очередному жизненному скачку, у чьего подножья – лишь жажда превосходства, превратили меня в наивного ребенка, увидевшего закрытые двери магазина игрушек».

Профессиональный долг не позволяет мне раскрывать имен, поэтому обойдемся местоимениями. Я следил за дальнейшей судьбой этого подопечного, и могу сказать, что из всех известных мне случаев его судьба сложилась наиболее благоприятно. После того, как он

попал к нам, и его протестировали, оказалось, что серьезных отклонений, помимо маниакально-депрессивного психоза и пробитой гвоздем руки, у него не наблюдается. После, с согласия его дееспособных родственников, он был отправлен в реабилитационный центр. И там он проявил повышенный интерес к религии. Раз в неделю, по воскресеньям, к ним в клинику приходил священник. С больными он проводил личные беседы, а иногда они собирались в кругу, как общество анонимных алкоголиков. С нашим подопечным священник разговаривал дольше всех. Их разговоры имели сугубо личный характер, так что никто не слышал, о чем, но говорили они часами напролет. В христианство он погрузился с присущей его натуре одержимостью: днем – Новый Завет, а ночью – молитва до синих колен. Вскоре его выписали, и в сопровождении священника он прямо из лечебницы отправился на послушание в Сретенский монастырь. Священник, с которым после его показаний, закрывших дело, у меня осталась связь, говорит, что подопечный наш все еще там, среди благоухающих ладаном алтарей и икон – постится, молится и участвует в монастырском хозяйстве. И я им верю. Религия вытащила его из ямы, в которой, деланно улыбаясь, сливается с грязью большая часть взрослых серьезных людей – просто вместо записок и крестов у них – кальянные и пьяные звонки бывшим. Я думаю, сейчас он по-настоящему счастлив.

Путешественник

В одной из пятиэтажек на окраине Москвы стали жаловаться на запах гари, доносящийся из подвала. Немногие очевидцы утверждали, что, проходя мимо подвального окошка, видели яркие вспышки света, разноцветное мерцание и искры. По адресу вместе с полицейскими и скорой выехали и наши сотрудники.

В заваленном метлами, ведрами и прочим хозяйством подвале на грязном бетонном полу клубились черные провода. Они тянулись между угловатым дубовым стулом и исполинскими, стоящими по бокам блоками – их позже идентифицировали как промышленные батареи. На самом стуле и на полу поблизости нашли то, что и строило воображение при виде этого стимпанк-трона – россыпь черного пепла. Также со стула свисало множество электродов, зажимов и прищепок, от которых к батареям тянулись провода. Даже далекий от физики человек понимает, насколько высоким должно быть напряжение, чтобы обратить целого человека в пепел. Вопросом, откуда взялись здесь энергоблоки, используемые на электростанциях, занялись следователи; мы же приступили к нашей работе – восстановлению хронологии событий.

Наши поиски были недолгими. Ноутбук, все это время находившийся на пыльном облезлом столе в углу комнатухи, к моменту приезда служб был в спящем режиме. Когда уже в стенах Дома наши специалисты его включили, на экране высветился медиа-проигрыватель с видеозаписью. Перед веб-камерой сидел подросток с бритой головой и спокойным, даже несколько радостным лицом, почти прозрачным в сизом свете монитора. Он не представился, возлагая идентификацию своей личности уже на судмедэкспертов. Глубоко вздохнув, как пловец перед долгим погружением, он заговорил, и голос его был каким-то клинически непри- нужденным и отстраненным, будто речь идет о вымышленных королевствах и драконах:

«Книжные миры больше не укрывают меня от преследования повседневности. Все мои потуги открылись как самолюбование в надежде заработать хоть какие-то деньги, в надежде утолить гордыню. Весь мой труд я подгонял под удобоваримые форматы и придавал ему привычное лицо. Я жил завтрашним днем, желая начать путешествовать завтра, уехав навсегда из этой пыли. Но деньги делают людей рабами завтрашнего дня. Я давно невзлюбил людей вокруг. Но я не ненавижу их. Они просто вызывают стойкое отвращение, как тараканы, копошащиеся в помойке или крысы. Они жалки из-за своей мелочности, зависимости друг от друга и бессознательности. Они слепы и, спотыкаясь, идут на запах. Запах денег. Но еще я презираю их, потому что они мои судьи. Я насмехаюсь над ними, но с ними считаюсь. Я думаю о том, как бы они не подумали, что я говорю хуже, чем вчера, пишу хуже, чем вчера, выгляжу хуже, чем вчера. И это моя тревога. Через их лица я смотрю на себя вчерашнего и себя сегодняшнего и попеременно восторгаюсь и отвращаюсь. Я злюсь на них, потому что они не дают мне снять маску притворства, потому что это маскарад, где без маски тебя высмеют и вышвырнут прочь. Я хотел занять роль проповедника, тыкающего носом все стадо в его низость и скотство, но и проповедники – лишь жадные до денег лицемеры, зарабатывающие на всеобщем горе, тогда как мне просто-напросто больше не по пути с этим стадом. Я не хочу пойти на дно вместе с ними, ведь у них есть денежные акваланги, а у меня нет. Осень, которой нас так пугал Крылов, уже давно наступила – все стрекозы замерзли за ГУЛАГовским забором, утонули в Охотском море; остался только обслуживающий муравейник персонал. Бояться больше нечего. Не верь, не бойся, не проси. Мне нечего больше кому-то доказывать и потому мне больше нечего здесь делать. Не жалею, не зову, не плачу. Я перестал жаждать денег, потому что они не делают меня счастливым и никогда не делали, а делает то, что находится за стенами города, за пределами выразимого словами. Меня выводит из себя то, что на «свои личные дела» мне выделяют точно отведенное время.

Я не лабораторная крыса, чтобы у меня, как у нее, на время открывался отсек для отдыха, в который я могу забежать по пластиковым трубам. А если я не использовал это время, «Увы, приходи на следующей неделе, жди следующего вечера пятницы». Сейчас я отчетливо вижу, что я никогда не смогу служить деньгам, не смогу откладывать жизнь до зарплаты. Я не смогу работать за деньги. Вся моя сдержанность и выверенность путей, выдержка рамок и форматов – меры безопасности, неоправданная расчетливость с надеждой на то, что людям будет легче понять меня, переварить этот продукт, потому что у него уже знакомый рецепт. Но я потерял в этом себя, свои собственные мысли, в этом больше вымученных букв, подобранных под программу. Потому что в последнее время не люблю заниматься творчеством, хотя и люблю искусство, что в этом нет искусства – лишь позерство и зажатость форм. После каждой странички я жадно проверяю, сколько я уже написал, потому что объем текста стал важнее того, что приносит мне процесс написания, потому что он не приносит уже ничего. Бесконечное чувство долга и невыполненной работы отравляет мое творчество. Лишь изредка появляется тот спонтанный неосмысленный хаос, который высвобождает всего меня; в остальное же время лишь тщеславие и жажда наживы движут моим созиданием. В этом давно нет полета. Запинки и ступоры после каждого слова, после каждой ноты. Алчный взгляд в будущее с вопросом: «Когда меня уже похвалят и наградят?». Я напоминаю себя уличного исполнителя, который что-то смущенно чирикает, на него останавливается посмотреть лишь пара человек, да и то потому, что лицо смешное; остальные же проходят мимо, нацепив недоуменные улыбки. А внутри меня дэдлайнами горят грандиозные планы, невоплощенные задумки. Я все время наставляю себя на нужный лад, как гитару со старыми скрипучими колками, анализирую, что «высоко», а что «низко».

Из-за того, что в деньги стали вкладывать больше смысла, меньше смысла осталось без них. Их наличие, как и отсутствие, затуманивают людям разум, приращивают их к одному клочку земли. Заставляют на них полагаться и опираться. Даже если ты живешь на пассивные доходы – это лишь ощущение материальной обеспеченности и защищенности от не пойми чего, тогда как единственное, от чего стоит защищаться – это от денег. Они крадут наши жизни, наши годы. Люди не стремятся покидать насесты, потому что им кажется, что может быть хуже, но хуже жизни с счастьем на бессрочном депозите быть не может. Когда случается срыв и жизнь из терпимой становится ужасной, эти слои самообмана соскабливаются, и ты понимаешь, насколько жалко ты живешь. Выполняешь обязанности лишь из страха перед карой за отказ от их выполнения. Живешь в ожидании выигрыша лотереи, чтобы выкупить свою жизнь. Я хочу поселиться где-нибудь, где нет диктатуры денег, работать за еду и кров, потому что озабоченность тем, что я когда-нибудь должен буду стать образцовым ответственным папашей, отравляет мою жизнь, вселяет жгучую тревогу, которая выжигает меня изнутри. За моей спиной всегда сидит цензор, который вставляет в мои слова кюпюры – разноцветные, с номерками и пейзажами городов. Правда прикрыта соображениями безопасности. Я подбираю идеи с установкой «как бы их можно было продать, как бы донести их до людей с кошельками?». Но я просто пекусь о том, как бы не остаться голодным и не замерзнуть. И этот до одури простой страх рождает какие-то громоздкие концепции, длинные слова, волнующие планы, которые лишь путают мысли и опаляют нутро тревогой. Идеи быстро себя исчерпывают, наскучивают и скатываются в рутину. Даже эти мои слова. Я остыл. Но еще я был за стеной и знаю, каково там. Там нет чисел, но еще там нет и того, кто мог бы любить их или ненавидеть, презирать или возжелать их – кто мог бы перед ними содрогаться».

Закончив речь, испытатель встал из-за стола и двинулся твердой походкой к дубовому стулу. Он сел, нацепив прищепки и зажимы к своей голове, груди и животу. Я до сих пор не нахожу этому рационального объяснения, но готов поклясться, что этот гореэкспериментатор

не нажал ни кнопки перед тем, как все началось. Камеру затрясло от легкой вибрации. Вместе с тем что-то низко загудело. Между двумя батареями зазмеились сиреневые нити статического электричества. В сопровождении басовитых хлопков вся комната зашлась световыми вспышками.

А потом произошло нечто странное.

Статическое электричество начало спутываться в сферический клубок, похожий на шаровую молнию. Оформившись, он медленно поплыл вокруг стула. К нему добавился второй, а затем и третий. Скорость их движения росла пропорционально высоте звука, который уже превратился в писк. Наконец они завертелись настолько быстро, что слились воедино, образовав над головой испытателя бледно-голубое кольцо. А через мгновение весь экран заполнила абсолютная белизна. Наверное, это единственный цвет, которым камера могла передать то сияние, которое в тот момент озарило подвал. И, судя по оплавившимся краешкам линзы, можно считать чудом, что сам ноутбук уцелел. Возможно, это дефект записи, но после многих вечеров, проведенных за повторным просмотром, мне до сих пор кажется, будто в один момент звук стал записываться задом наперед и напоминал скрежет ножа во время заточки. В одно мгновение белая пелена будто бы схлопнулась и все смолкло. Только ослепленная камера еще какое-то время нервно моргала, пытаясь сфокусироваться на обожженном стуле и тянущемся от него столбе дыма.

После первого же осмотра места происшествия следователи обнаружили, что ни одна, ни вторая батарея не были подключены к электропитанию. Они были чем-то вроде аккумуляторов, способных вобрать в себя огромные объемы электроэнергии. Вся проводка сгорела напрочь, но при ее исправности, говорят, каждый из этих аккумуляторов мог бы неделю питать целый район.

Не оборачивайся

Его тело было найдено в одной из квартир сталинского дома на Кутузовском проспекте, прямо возле Делового центра – из мансардных окон погибшего виднеются стеклянные громады Москвы-Сити. Нашли, увы, уже по запаху. Тело увезли в морг на вскрытие, анализы и экспертизы, но все было понятно и без них – у несчастного из уголка глаза торчал карандаш, воткнутый до самого ластика. Пока судмедэксперты разбирались, как он там оказался, мы искали ответ на вопрос *почему*.

Мимика покойников – это, конечно, отдельная причина для психического расстройства, но все-таки у этого бедолаги было особенное лицо. Тупое, неосмысленное и какое-то раздражающе безмятежное. Несмотря на то, что причиной смерти уже предварительно назвали самоубийство, я убежден в том, что он не хотел убивать себя этим карандашом – для самоубийства есть куда более действенные средства. Кажется, он хотел сделать себе лоботомию в домашних условиях.

Создание психологических портретов, конечно, – не мой профиль, но кое-какие соображения на этот счет у меня есть. Как бы высоко он ни забирался в материальном отношении, что-то неотступно шло за ним. Какой бы роскошью он ни окружал себя, каким бы красивым ни был вид на устремленную ввысь Москву из его окна, сколько бы нулей ни прилеплялось к цифрам на его банковском счете, в конце остались лишь крошки на ковре, пыль на полках и грязь по всей квартире. Он хотел от чего-то избавиться, выковырять из своей головы.

В ходе следствия в его квартире был проведен обыск. Помимо многомесячных отложений коробок из-под пиццы и пустых банок с прожженным дном, в шкафах нашли рукописи. Их поместили в наш старый добрый архив, куда доступ есть лишь у единиц, и засекретили. Однако вскоре эти тексты кто-то отцифровал и слил в интернет, где они блуждали по пабликам со страшными историями, и даже один ютубер, зарабатывающий лагерной (конечно, в детском значении) мистикой, озвучил один из них в своей регулярной рубрике «Истории у костра». На этой почве нас хорошенько встряхнули – благо, никого не уволили. Зато вот рассказы, что называется, ушли в народ: даже небольшие издательства интересовались, но на автора по понятным причинам выйти не смогли.

По правде говоря, виновником того слива был я. Но поймите меня правильно, я делал это не из корыстных побуждений. Да и какая здесь может быть корысть, когда литература нынче – удел либо бедствующих интеллигентов, либо яхтствующих богачей? Невоплощенный писатель внутри меня увидел в этих заляпанных не то вином, не то кровью рукописях настоящую литературу, истинное искусство, рожденное в неутолимых страданиях, а изъеденное ими тело, что мы нашли на мансарде в сталинке промозглым октябрьским вечером, – тому доказательство. Возможно, за годы службы я уверовал в то, что другие в нашем отделе насмешливо называют «страшилками», но все же я убежден, что в одном из рассказов я нашел начало карандаша, отчаянно пытавшегося нащупать воспоминания.

«Была летняя августовская пора. По асфальтированной дороге, то вьющейся меж русых полей, то прячущейся в мохнатых хвойных перелесках, гоняли небольшие косяки пуха. На ней то и дело попадались размозженные тела лесных обитателей, и если вчера раздавленный ежик походил на кокос, у которого отсекли макушку, то сегодня он уже представляет из себя кровавый приплюснутый силуэт со слегка приподнятыми от земли иголками. Даже смерть живет своей жизнью. На дороге встретилась даже бедняжка-лиса, которая теперь напоминала новогоднюю мишуру, растрепанную и запыленную. Небесную гладь прикрывали реденькие пушистые облачка, как клочки спутанной шерсти едва прикрывают тело облезлого кота. Одно небольшое однотипное село отстранялось от другого не менее, чем двадцатью

километрами этой узкой змеевидной дороги, по которой в этот момент ехал Гришка Рас-трепин на своем велосипеде. Гришка был пятнадцатилетним щупленьким мальчиком, кото-рый более всего напоминал вешалку-плечики, которую обратили в человека, дочертив недо-стающие части тела. И жил он в селе Кризалино. Его отец работал на молочной ферме, раскинувшейся неподалеку от их родного села, а мать была кухаркой в единственной на все село столовой, где вполне могло уместиться все здешнее население. Гришка был очень покла-дистым и неконфликтным мальчиком, обучался дома, да и то было вовсе не обязательно – после смерти отца коровы сами себя не подоят. И сейчас он только выехал из густого пере-леска, и перед ним распростерлось бескрайнее поле, золотистый покров колосьев, травы и растений, треплемый слабыми порывами ветра. Как все послушные мальчики, Гришка ехал по ходу движения автомобилей. Однако было ему беспокойно. На всем пути его не покидало ощущение щекотки в спине, а промчавшаяся в опасной близости машина каждый раз встря-хивала Гришку, и так как ему очень нравилось рассекать на велосипеде в наушниках, при-ходилось то и дело оборачиваться, чтобы видеть приближающийся сзади транспорт. Он даже с переменным успехом приунылся держать прямо руль, поворачивая голову назад. К этому его принуждал страх за свою жизнь и за свой сиреневый велосипед, недавно подарен-ный отцом на день рождения. На сиденье до сих пор шурился полиэтиленовый чехол – Гришка не хотел раньше времени прощаться с первозданной красотой своего подарка. И вот на сере-дине открытого отрезка дороги Гришка понял, что ему решительно надоело крутить шейю: она затекла и начала побаливать. К тому же его внимание привлекла появившаяся на гори-зонте машина. Изначально бывшая сплошным солнечным сверканием, она по мере приближе-ния приобретала цвет и очертания. «Темно-синий «форд фокус» – заключил Гришка. Он так увлекся рассмотрением «форда», что пропустил плановый осмотр тыла, а когда обернулся, в аварийной близости блеснул серебристый корпус ехавшей сзади машины. В голове у Гришки застучало, сердце забарабанило прямо в горле, руки словно пронзило электрическим током. Все его тело накренилось к центру дороги, и велосипед последовал за ним. Серебристая машина стала смещаться на встречную полосу, но объезжать велосипедиста было ошибкой.

Лобовое столкновение с «фордом» – и под аккомпанемент визжащих тормозов, скре-жета гнувшегося металла и стеклянного звона две машины на мгновение слились воедино, при-поднявшись на передних колесах в жутком приветствии, а затем с грохотом рухнули на асфальт. Гришка простоял с минуту, не смея шелохнуться даже взглядом. Быстро растущее и темнеющее пятно на его бежевых шортах, казалось, было единственным подтверждением того, что время не остановилось. Еле переставляя ноги, шаркая ими по асфальту, словно гравитация в этот момент ужесточилась сразу в несколько раз, Гришка стал приближаться к этой престранной экспозиции. Губы его тряслись, а по всему черепу растеклась такая лег-кость, которая была тяжелее и мучительнее самого сильного спазма мигрени, которую щуп-ленький и всегда немного бледный Гришка испытывал регулярно. Наконец он поравнялся с води-тельским местом «форда». На вылетевшей из руля подушке безопасности покоилась голова водителя на странно вытянутой шее. Гришка было подумал, что водитель просто-напросто потерял сознание, но на подушку начало что-то мерно накапывать. Однако эта была не кровь. Взглянув на лужицу бледно-серого цвета, образовавшуюся на подушке, Гришка предпо-ложил, что у водителя просто насморк, однако были это и не сопля. Это был мозг, взбол-таннный до состояния молочного коктейля и теперь стекавший склизкой кашницей через нос. Гришка завопил, а когда его голос сорвался на фальцет, захныкал, быстрыми рывками втя-гивая воздух. Он слизывал горячие слезы со своих бледных губ, втягивал их носом, и их пощи-пывание и соленый вкус вернули его на песчаный пляж в Евпатории, где он когда-то, будучи пионером детского лагеря, отдыхал. Ларьки с кукурузой и квасом, киоски, где на пыльных стеклах висели полусодранные ценники, выведенные едким маркером и выцветшие на солнце, крики детей и строгий назидательный тон вожатых, волны, томно замахивающиеся на берег

– все закружилось фантомным хороводом перед глазами Гришки. Больше всего ему сейчас хотелось оказаться где угодно, но не здесь, не на этой дороге, как бы в изумлении застывшей перед Гришкой, таким маленьким, но уже преступником.

В затвердевшей тишине он различил что-то помимо собственного скулежа. В это же время он обратил внимание на то, что в серебристом седане, так неудачно его объехавшем, место водителя пустует. Звук раздался снова – он доносился из-за раскуроченного «форда», только теперь Гришка понял, что это человеческий хрип. За багажником он увидел чьи-то ноги и, обнадеженный голосом возможного выжившего, двинулся к ним. Но с увеличением угла обзора тело внезапно оборвалось кровавым месивом у поясицы. Причем одна нога этого обрубка вывернулась как-то совершенно неестественно.

И тут Гришку что-то схватило за голень.

Его взгляд очень неохотно полз к собственным ногам, знакомясь с картиной издалека: вереница расплзшихся по асфальту бледно-розовых кишок, а затем – сильно укороченное туловище, вцепившееся руками в гришины ноги и смотрящее будто бы сквозь него.

– Из-извините – Гришка снова стал заикаться, после многих лет работы над собой, но теперь он уже никогда не сможет избавиться от этого недуга – я только х-хотел... я-я только...

– Поганый сученьи, ты зачем башкой своей вертел? – хрипело туловище. – Я видел, как ты оглянулся, я видел, как ты повернул, я видел...

Он мертвой хваткой обвил ноги Гришки, как бойцовский пес стискивает челюсти, чтобы не разжимать их, пока кто-нибудь не раскроит ему череп. Гриша подумал, что нужно бить по глазам, как наставлял отец, когда учил его отбиваться от диких собак.

Вот вдалеке, на пустынной доньне дороге замаячила машина; она вернула Гришку в этот мир. Он выдернул обе ноги из слабеющей удавки не в силах больше слушать эту заевшую пластинку «не оборачивайся, не оборачивайся, не оборачивайся», уже ослабевающую до вялого шелеста. Машина была еще в нескольких сотнях метров, так что водитель мог и не заметить его. Гришка добежал до велосипеда, вскочил на него, свернул в поле и скрылся за высокой травой».

Стекло

– Так, последний узелок... и... готово!

Перед ним стояла женщина с большими рыбьими глазами, в белой рубашке и бледно-розовых брюках; черные волосы покрывала косынка.

– Еще есть небольшой отек, но проколычки уже подсохли, так что сегодня мы тебя отпустим. Ну, – медсестра строго посмотрела на пациента, – рассказывай, что на этот раз.

– Да ничего, правда – на скейте упал.

– Боже мой, да какой же тебе скейтборд, с твоими костями?

– Знаю-знаю... маме только...

– Ладно, ступай, мне еще других перевязывать надо. И позвони ей, чтобы забирала – можешь домой ехать...

– Спасибо! – крикнул он уже за дверью и радостный поскакал по коридору.

К вечеру, когда ординаторскую в отделении травматологии обагрjali косые закатные лучи и оставался всего час до положенного для выписки времени, приехала мама.

– Извиняюсь... пробки... вы знаете... – она тяжело дышала после пробежки от парковки до больничного лифта; белая рубашка дыбилась на полном животе.

Они стояли в коридоре – мама, хирург и он. На его шею заползла мамина рука. Это вернуло его под купол цирка, где после выступления деткам вешали на шею длинного питона-альбиноса.

– Ничего-ничего, – успокаивал маму хирург, лысый мужчина с рыжеватой щетиной и красивым глубоким голосом. – Операция прошла успешно: пятую пястную кость мы вернули на место и закрепили спицей. Вот, взгляните, как было, – врач обратил к красному солнцу рентгеновский снимок, на котором костяшка над мизинцем надломилась и ушла чуть вглубь. – И как стало, – на втором снимке косточка стояла на прежнем месте, и вдоль сухожилий тянулась спица, сильно выделявшаяся ровностью своей формы на фоне органических тканей.

– Ринат Антонович, я уже и счет потеряла, сколько раз вы чинили моего оболтуса, – удавка на шее «оболтуса» затянулась сильнее, отчего ему стало не хватать воздуха. – Вы чудо!

– Благодарю, – доктор выдержал вежливую улыбку. – Я хотел поговорить о вашем сыне. Понимаете... это не совсем обычная травма, даже с его хрупкими костями.

– Мы ограничили активность, как могли, отгородили ото всех опасностей! – с досадой перечисляла мама.

– Я понимаю, но дело может быть не только...

– Сынок, – перебила она доктора, – расскажи-ка нам, как это произошло.

– Ну, я когда с кресла вставал, кулаками оперся...

– Ну вот, видите – это просто случайность, – снова перебила мама.

Каждый, кто хоть раз разговаривал с этой женщиной, для себя заключал, что в разговоре с ней собственные слова будто бы тяжелели, густели и застревали в горле.

Врач выглядел так, словно пробежал значительную дистанцию; лицо его было бледным и каким-то заостренным, две бессонные ночи в операционной разом навалились на него.

– Что ж, через три дня приходите на перевязку, а через месяц – на контрольный снимок, – Ринат Антонович перевел усталый взгляд на нерадивого пациента.

– Береги руку и никаких нагрузок, понял?

Пока «оболтус» ждал у лифта, мама навязчиво и очень суетливо вручала деньги изможденному хирургу, у которого уже не было сил, чтобы сопротивляться.

Он возвращался домой один – мама уехала к своим подругам отмечать пятницу. Въезд во двор предвещал шлагбаум. Немного поколебавшись, он обошел его мимо, хотя имел привычку через него перепрыгивать. Нет, не привычка – обязательство перед собой.

«Я только после операции, сейчас точно не перепрыгну, расслабься» – думал он, обходя шлагбаум. Уже оставив его позади, он обернулся, будто бы тот крикнул ему что-то вслед, что-то подначивающее. Однако тут же с детской площадки послышался уже реальный голос:

– Смотрите-ка, мумия идет! – это кричал один из дворовых мальчишек.

– Мумия! – подхватили остальные. Они играли в «Стоп, земля», но, завидев «мумию», прервались.

– Что, в усыпальницу идешь? – кривлялся заводила.

В те редкие моменты, когда «мумию» видели на улице или в школе, на сдаче экзаменов по пройденному дома, разные его конечности всегда были замотаны бинтом.

Кто-то смеялся, а чуть более воспитанные, вернее, чуть менее невоспитанные, молча провожали «мумию» взглядом.

Он вошел в квартиру и закрыл за собой дверь, оказавшись в густой и холодной темноте. Она была ему по нраву. Он вырос в больничных стенах, как блеклый подсолнух, под светом холодного больничного света. Первые его шаги были по белому, пахнущему хлоркой кафелю, вместо первой сигареты был первый укол ледокаина, а пока других полосовал нож любовных страстей, его полосовал хирургический скальпель. Его классом был процедурный кабинет, а портреты писателей заменяли стенды о распространенных кишечных вирусах. Ему было неуютно наедине с собой. Там, где он себя знает, были слепящие лампы, бросающие отблески от холодных плиточных стен. В темноте он меньше чувствовал себя.

Он прошел на кухню, чтобы сделать кофе. Положил сначала две ложки, но, подумав, вычерпнул примерно половину второй и сыпал обратно в банку. Сахара насыпал на полторы. Резал хлеб на бутерброды. Один ломоть, потом второй. Чуть замаялся и от третьего отрезал половину – не любил переедать: после еды часто надувается живот, и в него так и хочется ткнуть чем-нибудь острым, чтобы он сдулся. Но и недоедать он тоже не любил. В его комнате, заляпанной тягучей вечерней темнотой, стоял сладковатый сухой запах книг, нагоняющий дурман, словно эфирные масла. В углу, убранный в черный чехол, стояла гитара. На полках теснились толстые пожелтевшие книги – собрания сочинений классиков с надорванными потертыми корешками.

Еще он писал, но написанное кроме него самого никто не читал – оно ложилось включенной и густо исписанной скатертью на его стол, и на нее то и дело капнет горчица, или оставит жирный след жаренная куриная ножка.

Комнатная прохлада нагнала на него сон. Он хотел уже опуститься на кровать, чтобы пролистать остаток дня в сладком забытьи, но с письменного стола донесся чей-то насмешливый голосок. Кто-то его дразнил. Это была его последняя рукопись. В прошлый раз, работая над ней, он отчаянно боролся с мельтешащими словами, которые все никак не хотели вставать в нужном порядке. Фразу «В синий дом вошло несколько взмокших и припеченных летним зноем господ в цилиндрах и с тростью у каждого» он переписывал семь раз. Увидев последний вариант («С летним зноем в синий господ вошло несколько взмокших у каждого дом и тростью припеченных»), он рассвирепел, смел бумагу со стола и с размаху обрушил кулак на тяжелый письменный стол. Мама собрала листы в аккуратненькую стопочку: в ней огрызки глав разных рассказов лежали в случайном порядке. Но лист с так неудачно начатой работой лежал самым первым, и порядок тех слов казался таким очевидным, что их автор искренне недоумевал, что в нем могло вызвать такие затруднения. Легко справившись с этой задачей, он, впрочем, почти тут же вернулся в свой привычный ритм, медленный и мучительный. Глаза отлынивали от текста, словно магниты, повернутые тем же полюсом, взгляд прятался среди далеких панельных домов за окном и растворялся в вечернем небе. В придуманных мирах время нужно стелить ровным полотном, пространство гладко утрамбовывать и равномерно усеивать его действием, но их отдельные обрывки путают мысли, заставляют придирается к красоте слова, они

хотят только одного – чтобы ты непременно пропустил одну ямку на грядке или посадил сразу несколько семян в одну. И внутри он изнывал от напряжения, пытаясь ровно засадить этот бесконечный огород; часто зевал, потягивался, заламывал пальцы (которые позволяло здоровье). Чесать голову нельзя. От этого на ней появляются болячки, шелушится кожа, но ощущать на кончиках пальцев ворсистость волос, сладостную жесткость их корней – это так приятно, так... успокаивающе. Ороговевшим от гитарных струн кончиком среднего пальца он ощутил влажный бугорок на коже головы, об который с легким хрустом терлись намокшие корни волос. Они источали солоновато-кислый запах сала. Скоро на месте этого бугорка появится маленькая болячка, которую он обязательно сдерет, наслаждаясь ее выпуклостью и шероховатостью.

Работа немного продвинулась вперед; герои добрались до конца абзаца и на точке сделали привал, где их можно оставить и отдохнуть самому. Была уже глубокая ночь – время утекло в какую-то дыру, от краев которой едко пахнет чернилами ручки. Сонная тяжесть век сменилась пощипыванием в вытаращенных глазах, голова зудела, но на душе было легко.

Уже лежа в постели, он играл в свою любимую игру: стискивал мышцы груди до характерной режущей боли, выгибал руки в локтях, ощупывая тонкий, вытянувшийся змеей бицепс, тужился, пока пресс не начинал жгуче болеть. Напоследок он еще несколько раз оттянул одну стопу так, что сводило икру, вытягивая ее обратно, когда боль становилась нестерпимой, после чего наконец заснул.

Ночью ему снилось, как он плавает в бассейне и хочет проплыть его весь под водой. Вокруг размытая синева, сквозь нее очень смутно проглядывает бортик противоположного конца бассейна. Вот он уже на середине, но легкие понемногу заполняются раскаленным удушьем. Он не может выплыть на поверхность, он должен доплыть до конца. Диафрагма начинает непроизвольно сокращаться, плавленный свинец разливается по всему телу, сердце бешено колотится, отдаваясь в ушах глухим грохотом. Конец бассейна, непостижимо далекий, окутывает искристой чернотой, но всплывать нельзя – жизнь на поверхности хуже смерти под водой.

Он отчаянно откашливал фантомную воду, свесившись с кровати. Ночную тишину квартиры прорезали раскаты маминого храпа. Горепловец включил ночник и сел на кровать. После таких снов он боялся засыпать снова, чтобы не погрузиться в тот же кошмар, но очень скоро незаметно для себя, как и всегда, опять уснул, но уже спокойным сном без сновидений.

Новый день плавно залился в уши маминым разговором с другим голосом из телефона. Все как обычно: они разъедали своими мелкими зубцами гнойную корку чьего-то очередного неверного поступка или слова, как юркие сомики счищают зловонный, болотного цвета, налет со стенок аквариума.

Увидев, что сын проснулся, мама, отстранив трубку от уха, спросила у него, что он будет есть на завтрак. С телефоном в руке, она всегда говорила чуть ласковее – чувство родительского долга пристыжало ее за пустословие. После телефонных разговоров еда обычно была вкуснее – мама с особенным упоением кидалась выполнять этот самый долг.

Но сегодня разговор был слишком уж интересным. Мать хотела накормить голодного ребенка, но от разговора было решительно невозможно оторваться. Блюдо, приготовленное человеком, наклонившим голову к плечу, получилось весьма наклоненным и сильно напоминало мазню из кошачьей миски возле цветочного горшка на кухне. Сама кошка гнусаво орала, закрытая в душевой кабине. Большую часть дня она сидит там, далее кабина очищается от нечистот, промывается, а кошке выдается еда. Мама запирает ее там, потому что она ходит по кухонному столу, оставляет следы мокрых лап на плите и смахивает с полок всякую мелочь типа колец, подвесок и брелоков. А может, это она плохо себя ведет, потому что ее запирают в душевой кабине... Этого до сих пор никто не проверял, да и не собирался.

Кажется, кошка сошла с ума от долгого сидения там: когда кто-нибудь заходит в ванную, она упирается головой в округлую прозрачную дверцу, уставляется на вошедшего расширенными влажными глазами и с равными промежутками мяукает. Ее челюсть в этот момент дви-

гается с какой-то механической мерностью, как на шарнирах, приподнимая щечки со вздыбленными усами. С кухонной стены экран телевизора ведет непрерывный надзор за квартирой, и, когда между ведущими, двумя напыщенными тетушками, произошла постановочная ссора, собака залаяла на экран. От этого колхозного гомона он, зачем-то оставшись завтракать на кухне, чуть снова не ударил по столу кулаком.

Мама сидела на диване в гостиной, внимая голосам из телефона. Он аккуратно раздвинул дверцы душевой кабины, достал оттуда кошку, немного погладил ее, чтобы успокоить, но от этого она только громче заверещала – уже от удовольствия. В любом случае, ее крики уже не привлекают ничье внимание в этой квартире.

Он понес ее к выходу, а когда повернул дверную ручку, собака кинулась к двери, а за ней и мама. Юный контрабандист аккуратно отбросил кошку подальше от входа в квартиру. Ничего, назад она если и пойдет, то не сразу – ей нравится гулять по лестничной клетке, осваивая соседские коврики. Сам он встал в дверях. Мама расспрашивала, куда он уходит, с кем и зачем, и какая-то импульсивная участливость в ее голосе очень раздражала, но сейчас было не время раздражаться. Контрабандист выдержал допрос, а кошка, скрывшись за поворотом, сильно помогла делу. Мама несколько раз выглядывала из-за его плеча, проверяя, не убежала ли кошка, но трубка в ее руках заставила положиться на благоприятный исход.

У подъезда его внимание привлек разговор двух мальчишек – навскидку оканчивающих только первый класс. Его удивило, что ребята в таком юном возрасте говорят о химии и даже оперируют соответствующими терминами: глицерин, пропиленгликоль. Как оказалось, ребята обсуждают рецепт курительной смеси.

В этот раз, озабоченный другими делами, он даже не оглянулся на шлагбаум, когда проходил мимо. Надо сказать, что прыгал он хорошо, хоть и спортивных секций, ясное дело, не посещал. Скорее его ноги научились прыгать высоко, перелетая планку, достаточную, чтобы сохранить достоинство. Войдя вглубь парка, он сошел с асфальтовой дорожки и направился в чащу. Кошка лежала в его руках, как младенец, на спине и ошалело оглядываясь по сторонам. Вся трава поблизости от дорожки была усеяна собачьим калом. Но ничего не поделаешь – мы их выселили из их дома и загадили его, а теперь они загаживают наш.

Отойдя достаточно далеко от дороги, он остановился и поставил кошку, это дряхлое жалкое существо, на землю. Обритая белая шерсть торчала рваными клоками, слегка прикрывая ее тонкое розовое тельце, отовсюду выпирал скелет, туго обтянутый дряблой кожей, хвост с жидкой кисточкой напоминал бузинную палочку. Она уселась на прошлогоднюю бурую листву и стала пищать, глаза были словно две мокрые маслины. Он пошел из леса, а кошка сидела и жалобно смотрела на бессмысленный мир вокруг нее. Он оглянулся и уже с некоторого расстояния смотрел на нее. Усики на ее белых щечках топорщились, она стала протяжно, будто бы с зевком, мяукать. Он пошел прочь, глядя через плечо, моля, чтобы она сделала хотя бы один шаг. Но она так и сидела, не двигаясь с места, тупо пялясь на все и ничего. Он развернулся, подхватил кошку и понес ее домой.

Он шел вдоль изгороди по широкому пастбищу, вокруг чернел дремучий лес, мокрая трава бледно поблескивала в лунном свете, мельница отбрасывала длинную мрачную тень. Прямо за изгородью стоял маленький дедушка. Его седая борода серебрилась в лунном свете, глубоко посаженные глаза прятались в тени сухого лица. Казалось, будто их и вовсе не было, а были только черные впадины. Дедушка что-то неразборчиво бормотал. Путник подошел к нему поближе, и тогда дедушка заплакал. Путник пытался выяснить, в чем дело, но дедушка горько зарыдал. Путнику стало страшно. Дедушка охал и всхлипывал, прикрыв лицо руками. Путник жалобно стонал и временами даже покрикивал, пытаясь выведать, что же так расстроило дедушку. Но от этого они лишь перенеслись в комнату к Путнику, где пахло старыми книгами. Теперь уже Путник истошно кричал на деда, лежа в своей кровати. Его трясло, и он беспомощно вопил, чтобы дед убирался прочь, но тот безутешно ревел, стоя в углу. Негосте-

приимный хозяин прижался к стене, умоляя деда уйти, и тот, наконец, стал превращаться в зачехленную гитару. Он, подпрыгивая, наступая только на носочки, словно пол устилали раскаленные камни, добежал до двери и включил в комнате свет. На полу, возле кровати, лежал том из собрания сочинений Горького, где была пьеса «На дне». Он уснул с книгой на лице, но приходила мама и положила ее на пол. Было полчетвертого утра. Настенные часы разрезали тишину на равные куски, так что можно было без труда определить по раскату маминого храпа, насколько далеко была молния.

Страх растекся по телу вязкой жижей, поджег уши и щеки, настучал пару раз по сердцу и испарился зловонной засухой во рту. Он чувствовал себя разбитым, уставшим и напуганным. Мочевой пузырь ныл, измотанный длительным воздержанием. Он пошел на кухню смочить горло, а затем – в туалет, попутно включая везде свет.

Вернувшись в комнату, он повис на турнике – пора бы начать разрабатывать руку. Ему уже надоело играть в старую игру, в которой надо протаскивать больной, кренящийся к другим пальцам мизинец мимо безымянного. Он начал подтягиваться, обхватив перекладину первыми четырьмя пальцами. Напряглись кисти и сухожилия, и он почувствовал, как в больной руке, с тыльной стороны ладони, что-то натянулось и будто бы уперлось в кожу. К руке прилила кровь, она чуть надулась, но боли совсем не было – только ощущение натяжения. Заряд бодрости прокатился по телу и развеял сонную вялость. Он принялся отжиматься. Бинт чуть приспустился, но все же продолжал туго сдавливать ладонь в лодочку. Он почувствовал всю длину спицы в своей руке. Сомкнувшиеся сухожилия будто бы выталкивали ее на поверхность. Тогда он оперся на стоялки и попробовал встать на руки. Почти вытянулся в стойке, но костяшку над мизинцем вдруг зажгло, весь торец ладони заныл, и ночной гимнаст врезался стопами в пол, после чего тут же замер, ожидая тревожных возгласов просыпающейся мамы. Но их не последовало. Все лицо как будто распухло от прилившей крови, в висках и под глазами словно бы терлось множество мелких песчинок. Кровь отхлынула, и он пошел в ванную, чтобы посмотреть в зеркало. Лампа над ним высвечивала все уродство с фотографической дотошностью. На отеком лбу прорезались две кровавые морщины, на висках и вокруг глаз расплзлась россыпь красных точек – полопавшихся капилляров. Он поднял брови, и алая сыпь на тонкой коже над веками отвратительно растянулась в переплетении змеящихся фиолетовых вен. Приподняв волосы, он будто растормошил тараканье гнездо: под ними разбегались полчища красных гадюк. Щеки разбухли, на них выступили бордовые вмятины, похожие на следы от подушки после сна на лице. Само оно ощущалось тяжелым и разбухшим, глаза сузились, утопленные в заплывших щеках.

Он пошел на кухню, взял ножницы, разрезал бинт, размотал его. Под влажной марлей покоились две уже подзатянувшиеся ранки: одну оставила сломанная кость, другую – медицинский инструмент. Первые две костяшки были бледно-лиловыми, последние две скрывались под отеком, там кожа была желтоватой. От ощущения сырости и непривычной свободы движения руке было неуютно, ей снова стало боязно двигать. Тем не менее, он покрутил ею в кисти. У медицинского прокола был какой-то бугорок. При нажатии он отозвался жгучей болью. Найдя рассадник той боли, которую раньше он чувствовал лишь по чуть-чуть, веснушчатый ночной гореспортсмен испытал ужас, смешанный с удовлетворением. Как будто пыльцы, пошарив в области, где смутно болит, наконец, возвращаются назад, неся на кончиках кровь. Судя по всему, это было основание спицы, а если точнее – новая игра. Перед тем, как снова уснуть, он катал под пальцами свою новую игрушку – ее округлость и выпуклость были бесподобны, а жгучая боль была сладостным лишением, не разрешающим нажимать слишком сильно, но соблазняющим касаться снова и снова.

Проснулся он в девять утра. Если спал допоздна, ему казалось, что он пропустил что-то важное, а закатные лучи при пробуждении всегда нагоняли на него тоску и чувство опусто-

шенности. Утром он обычно писал или читал, потому что утро – это кроткая и нежная пора, когда все еще будто бы не в счет.

Кожа на руке подсохла, отежная область покрылась мелкими шелушащимися бороздками. Две вдавившиеся косточки придавали руке неестественно гладкий вид. Зеленка расплылась от проколов тусклыми изумрудными разводами, заполняя бороздки, и кожа оттого напоминала чешую ящерицы.

Собираясь на улицу он рассеянно: к мыслям присосалась, впрыснув в тело озноб, пивка навязчивой дилеммы: уменьшился ли отек, или же спица стала сильнее выпирать из-под кожи?

Стояла солнечная жаркая погода, и в тени подъезда была блаженная прохлада. Он пошел через двор. Полуденное солнце слепило сонные глаза, припекало грудь, горячий воздух был терпким и душным, пыль щипала горло. Впереди показался шлагбаум. Подошва нагрелась от раскаленного асфальта, стельки намокли от пота. Сейчас пройти мимо нельзя, надо прыгнуть. Сделать несколько длинных аккуратных шагов и прыгнуть, оттолкнувшись изо всех сил и прижав к себе ноги. Хорош отдыхать!

От волнения сдавливало грудь, а ноги вдруг стали вязнуть в асфальте, как в песке. Он чувствовал бессилие, слабость, сонливость, но не мог не прыгнуть через шлагбаум, потому что должен всякий раз долетать до своей вчерашней высоты, повторять свой подвиг, а иначе... Впрочем, никаких «иначе» представлять совсем не хотелось.

Он прыгнул. Почувствовал, как летит над пластиковой планкой, дарящей ему столько страданий, но, вместе с тем, такое удовлетворение. Нога зацепилась за шлагбаум, и прыгун весь задергался в воздухе, размахивая руками. Чтобы не войти носом в асфальт, он бешено дрыгал ногами, пытаясь нащупать землю. Левая нога, поставленная ребром, не стала спорить с асфальтом и надломилась, как сухая веточка, а прыгун полетел дальше. Он шмякнулся на землю и рефлекторно выставил руки. Приподнялся он пистолетиком, на правой ноге, попытался выставить левую, но ее стопа всякий раз вяло заваливалась набок, лишённая чувств, как нога марионетки. Он несколько раз пытался на нее опереться, пока она не вывернулась так, что стало видно подошву. От этого зрелища он оцепенел, сердце покрылось коркой льда. На подошву упала багровая капля, за ней вторая.

Он поднес руку к глазам. Костяшка мизинца топорщилась омерзительным угловатым нарывом, надвинувшись на первую фалангу и задавив мизинец, начинавшийся теперь ниже остальных пальцев. Кожа натянулась, едва сдерживая кость, побелела и избороздилась надрывами, сквозь которые росли маленькие кровяные ягодки. Окровавленная спица торчала из руки, высунувшись своей чуть загнутой головкой, словно любопытствуя, что здесь такое произошло. Перед глазами проплыл рентгеновский снимок, на котором очертания спицы казались такими несуразно ровными, а ее кончики чуть загибались. Глаза застелила маслянистая темнота, и он, упав на землю, погрузился в холодный мрак.

Кто-то говорил за стеной. Речь, поначалу бывшая неясным глухим журчанием, постепенно облачалась в слова. Но прежде всего в нос заполз запах бинтов и медикаментов.

– У него перелом голеностопа со смещением, нужна госпитализация.

– Боже, ну что ж ты опять... – женский голос за стеной сдавило горечью. –

Я поеду за вещами, где подписывать?

Напротив каталки, на которой он лежал, было окно, заливаемое увядающими закатными лучами.

Голоса в соседней комнате продолжали:

– Подождите, это еще не все. Пястная кость снова сломалась, спица выскочила, необходима еще одна операция. Но... – мужской голос тяжело вздохнул, – вы должны понимать, это повторный перелом, да еще с таким здоровьем... Полное восстановление почти исключено.

Женский голос ничего не ответил, но мысленным взором больной отчетливо увидел, как мама едва заметно кивает с трагичным выражением.

Он сполз с каталки. Левая нога и правая рука покоились под бинтами. Он решил ползти, чтобы не наделать шума. Остановился, когда полз мимо прохода. Врач по ту сторону стола скрывался за стеной, и сбегающий пациент видел только маму. Он не ошибся в своих представлениях: она сидела за столом и кивала так, словно шея у нее заржавела.

Он залез на подоконник. Дивный закатный мир далеких розовых квартир и золотых дорог. Врач и мама кинулись на звук бьющегося стекла, когда он уже летел в россыпи осколков, искрящихся в свете солнца, умирающего и оттого прекрасного.

Ребята прозвали его Стеклом – его кости были хрупки, как винные бокалы, завернутые в белоснежную шелковую скатерть. Любая драка оказалась бы для него последней, поэтому Стекло обладал абсолютной неприкосновенностью. Но ей он не злоупотреблял благодаря другому своему стеклянному качеству – где бы он ни был, в какой компании бы ни оказался, везде Стекло сливался с обстановкой, безмолвно отражая все ее изгибы. Если другие кодировались от сильного похмелья или нехватки провианта, то он мог безболезненно и сколь угодно долго оставаться трезвым как стеклышко, но, если воздержание его отсвечивало, он вместе с остальными за Домом пил паленую бодягу, которую приносили старшаки. В общем, в нем не было ничего своего – только то, что покажется за кристально чистой линзой его души.

Перед ним стоит она. Они вместе с Домом – настоящим Домом, приютившим под своей крышей поломанных детей, – большим бело-синим автобусом приехали на Воробьевы горы. За старым полароидным фотоаппаратом, через который она смотрит на мир вокруг, видно лишь лучистую улыбку ее тонких губ. Весенний мир застыл, словно восхищенный рождением солнца, чистого и яркого. Она была еще до того, как мама забрала его из Дома в квартиру, до тех бесконечных тоскливых дней больничного заключения, до переломов и поправок, госпитализаций и выписок, рентгеновских снимков и процедурных кабинетов. Они замороженно наблюдают со смотровой площадки, как сверкает в полуденном солнце стеклянная мозаика города. Словно тысячи хрустальных капелек на необъятной люстре. И свет всех воплощен в каждой, и свет каждой воплощен во всех.

(Но, кажется, где-то это уже было...)

Ее темно-русые волосы пылают золотом. И каждый волос искрится, будто паутинка между колосками в широком поле летним днем.

Он говорит, что ему холодно, что ему страшно, и тогда она смеется. Музыка ее смеха красивее всего на свете, и ему больше не страшно. Она берет его за руку, и ему становится тепло, как никогда раньше не было. Она все смеялась и смеялась, но легкость из ее смеха уходила, сменяясь тревогой, пока смех не превратился в стон.

На соседней койке кто-то ворочался и стонал во сне. Палата была окутана мраком. За окном тоскливо поблескивали далекие окна лестничных пролетов в беззвездной синеве ночи. Бледные маленькие солнца на железных ногах бдели на уснувшей больничной лужайке. Он был погребен в гипсе. Обе ноги висели на подвязках. Голова была замотана бинтом, а отверстия имелись лишь для носа и глаз. Было невыносимо душно и жарко. Тело прело и кололось внутри гипсового саркофага. В напряжении мышцы словно бы натягивались над колючей проволокой, но сейчас, расслабленные, они легли на нее каждым сантиметром, каждым волокном, накаляясь от зуда и жара. Но больно не было – только нестерпимо хотелось двигаться. Он напрягся, пытаясь привстать, и почувствовал, как гипс надавил на грудь. Он напрягся сильнее и почув-

ствовал, как грудная клетка прогибается, готовая надломиться, как сжимается сердце и сдавливает дыхание.

И тогда он, замычав, рванулся всем туловищем вперед, и осколки ребер вонзились в сердце, словно целый рой игл – в булавочную подушечку.

Дело №3,14

Специфика нашего учреждения не позволяет однозначно относить новоприбывших ни к пациентам, ни к арестантам. Поэтому просто скажу, что на днях к нам поступил новый во всех смыслах этого слова экземпляр. Сейчас он сидит в изоляторе с мягкими стенами, дожидаясь результатов медицинской экспертизы, но, думается мне, пробелы на месте ответов на вопросы, какие он должен был дать сам, письменно или устно, ничего хорошего не предрекают. Закон он не переступал, никого (кроме близких, да и тех, скорее, расстроил) не обидел, но, смотря сейчас на него через сетчатое окошко изолятора, я понимаю, что домой он отсюда точно не поедет.

Каждый раз, проходя мимо его камеры, я застываю, как замороженный и каждый раз виню себя за это извращенное любопытство. Но ничего сделать с собой решительно не могу – зрелище действительно завораживающее. Вот он сидит в какой-то прямо-таки мебельной неподвижности, словно ящерица, застывшая на припекаемом солнцем камне. Но проходит мгновение, и его тоненькая рука выстреливает куда-то в случайном направлении, словно бы атакуя невидимых ниндзя, посягнувших на его буддистский покой. Это предположение развеивает только то, что руки его не сжаты в кулаки и даже не напряжены, а хлыщут воздух, словно плети. Иногда это происходит с настораживающей ритмичностью, словно капель из протекающего крана у нас на служебной кухне, барабанящая по железному поддону и давшая бы фору в своей размеренности любому барабанщику. Иногда второй удар или, правильнее сказать, хлест следует сразу за первым, и тогда это уже больше напоминает бокс разваренными макаронами. Но поводов для смеха здесь нет, и таким выражениям виной, пожалуй, только мое видение всех возможных видов, если можно так выразиться.

Мы серьезно опасались за его шею и заключили ее в эластичный ортез, потому что нечто подобное он делал и головой. Иногда он ходил из угла в угол, но его дерганная походка практически не поддается описанию. Пожалуй, больше всего это напоминает перекачивание полупустой бутылки с водой. Всеми этими движениями он словно бы отмахивался от чего-то назойливого, вроде мух, а иногда и вовсе пчел. В общем, при таком соседстве на работе сейчас я стараюсь без крайней нужды не засиживаться допоздна. Глаза у него заполнены всегда той вполне здоровой озабоченностью, с какой мы, например, вбиваем гвоздь или ищем нужный выход из метро. Возможно, именно выход он и ищет, только будто совсем не из обитых ватой стен. К чему я, пожалуй, никогда не смогу привыкнуть и чего никогда не перестану бояться – это видеть за сетчатым толстым стеклом глаза, какие можешь увидеть и у прохожего на улице, и у жены, и у ребенка.

Сухие формулировки я оставил для вороха отчетов, здесь же я могу изложить, к своему большому облегчению, те наблюдения, какие наши штатские психологи назвали бы дилетантскими, если не сказать детскими. Но умолчать я об этом не могу. Дело в том, что все в его поведении навеивает мне один далекий образ из детства. Сдается мне, что все мы, будучи еще совсем маленькими, услышав от взрослых что-то о предопределенности будущего, стараемся его всеми силами нарушить. Но все, на что хватает нашей детской смекалки, – это хаотично размахивать конечностями в надежде, что каким-то из этих, как нам кажется, спонтанных движений временная петля уж точно будет разорвана. Но чулок обреченности всякий раз принимает формы всех наших сопротивлений.

Звонок поступил от мамы нового подопечного со следующей формулировкой: «Ходит по комнате, дергается, брыкается, на просьбы не отвечает, в руки не дается, приезжайте». Мы с пониманием относимся к людям и не стали выспрашивать, почему вызвали именно нас, а не службу белых халатов. Дело в том, что мы не работаем ни с кем, кроме системы госфинанси-

рования, которая, однако, с нами работает очень неохотно. Проще говоря, мы вне компетенции госучреждений и потому никаких уведомлений ни по месту учебы, ни по месту работы не отправляем. Таким образом, всем новоприбывшим обеспечивается естественная анонимность, так излюбленная порядочными людьми, когда дело касается их грязного белья. Человек, определенный к нам, становится социальной невидимкой. Он пропадает и для соседей, и для работодателя. И это против нашей воли роднит нас с НКВД, только без черных воронок – бюджет не резиновый.

Мать задержанного до сих пор ни разу сына не навещала и на контакт с нашими представителями не идет, судя по всему, умышленно. К сожалению, сейчас это нормальная практика. Позволю себе немного пофилософствовать, сказав, что причиной потерянности конкретно нынешнего поколения является то, что некогда детский девиз «главное, чтобы все шито-крыто было» перешел к родителям. А когда у ребенка все «шито», но уже в английском смысле этого слова, он становится чем-то вроде имущества с просроченной арендой, находящейся в собственности родителей лишь до прихода налоговой инспекции, а в данном случае – нас, сиделок Дома Презрения.

За окном остатки дня тридцать первого октября опадают в холодную лужу на осеннем асфальте... Прошу извинить меня за эту графоманию – гибнущий писатель внутри меня (хотя он и не рождался, чтобы гибнуть) все просит дать ему слово. В общем, уже стемнело, Дом опустел, дело близится к полуночи, а мне нужно еще раз перепроверить материалы по делу, которое мы между собой прозвали «Дело № 3,14», и скоро вы поймете почему.

Обыск в таких случаях мы проводить не имеем права, поэтому для работы наши оперативники с места вызова привозят описание интерьера. И если вы когда-нибудь задавались вопросом, куда же подевались новые пушкины и гоголи, возможно, вам стоит посетить наши архивы (шутка – совершенно секретно). Вот что мы имеем по нынешнему делу:

«Комната задержанного на момент презирации пребывает в обширном беспорядке. Вещи в ней буквально кричат «Я тоже псих!» Стол перевернут и фотографии, лежавшие на нем под матовой прозрачной клеенкой и ускорившие бы ход дела, соответственно, тоже. Но трогать их мы не можем – ордера нет. Стационарный компьютер, находившийся в комнате, обильно горел, однако пожар был оперативно локализован, успев лишь немного опалить паркет. Однако первичным осмотром выявлено, что компьютер ремонту не подлежит. На ножке напольной лампы с гибкой шеей замечена вмятина, рядом с лампой обнаружена деталька «Лего». Судя по всему, в момент вакханалии, охватившей комнату, произошел акт мистического возмездия, однако цель была явно выбрана ошибочно. Полки да и вообще все плоские поверхности в комнате задержанного уставлены преимущественно трудами на тему числа П. Между них, купленный, видимо, по ошибке, затесался роман Виктора Пелевина «Generation П». Полка, на которой и покоилась эта книга, была демонтирована кулаком задержанного, вследствие чего один ее конец опустился на нижестоящую тумбочку, непроизвольно создавая миниатюру эволюционной лестницы из накренившихся книг, увенчанную той, которая по злой иронии к делу не относится. При местном анализе психического состояния задержанный проявлял все признаки задержанного: неосмысленный взгляд, резкие порывистые движения...»

Так, пожалуй, достаточно. Я, конечно, понимаю, что для себя пишем, но это и в прошлый раз меня отвернуло от изучения дела. Но дочитать надо – завтра к утру должны быть уже готовы результаты экспертизы, и совесть не позволяет мне предоставить полуправдивый отчет.

Я слышу его. В полном безмолвии Дома, прикрывшего свои стеклянные глаза, из изолятора доносятся хлесткие звуки. Я знаю, что это все те же бессмысленно выстреливающие в воздух руки. Но я не знаю, правда, не знаю, чего я боюсь больше: еще раз увидеть этот взгляд, эту осмысленность в нем при полной бессмысленности движений или то, против чего эти движения совершаются. Даже работа принтера могла бы заглушить этот звук, но в звонкой тишине он

просачивается через ржавые замки глухой двери и подлой змеей закрадывается в меня, впрыскивая страх маленькими дозами, внутримышечно. Чтобы хоть как-то заглушить эти звуки, я стал напевать: «Эти глаза напротив...», но вскоре понял, что это не лучшая идея, а ничего другого в голову предательски не лезло. Зато мне вспомнилось выражение одного нашего старого и не особо говорливого коллеги: «Дом никогда полностью не засыпает – он знает слишком много». И сейчас эти слова преобразились, как преобразается кладбище с наступлением ночи. Мне страшно захотелось найти хотя бы одну живую душу в этом здании, услышать человеческую речь, укутаться, как в теплый плед, в чью-то осознанность, пускай и раздражающе узкую. Подобно крысе в лабиринте, я искал выход из этой страшной клыкастой пустоты, и в своих мыслях я даже находил его за дверью изолятора. Мне хотелось открыть эту дверь, схватить этого проклятого мальчишку, очередную жертву информационной бомбы, и трясти, трясти что есть мочи, пока не вытрясу из него все безумие. Мне было по-настоящему страшно. Тени, отбрасываемые паникой, разгорающейся внутри меня, забегали по углам моего кабинета, острые, в длинных плащах. Мой взгляд носился за ними, словно разыгравшаяся собака, натягивая до боли поводок моих нервов. Далекие дома там, за окном, сейчас казались видом из темницы. Мучительно далеким и непостижимым. Там, в десятках тесных кухонь, нагроможденных друг на друга, жуется горячий ужин, неспешно плетется семейный разговор, звенят тарелки. Но тут я вернулся обратно в полумрак кабинета, прорезаемый лишь настольной лампой, из которого я с такой соблазнительной легкостью упорхнул в своих мыслях, и страх набросился на меня с новой силой. Я множество раз оставался последним обитателем Дома, но никогда мне не было так страшно, как сейчас, ибо нахождение наедине с одержимым намного хуже, чем полное одиночество. И боялся я не того шупленького мальчишка, который сейчас сидит у стены, поджав ноги и размахивая руками, а ту силу, запредельную, необъятную тепличным умом, которую он наводит на это место, подобно тому, как незранированный провод наводит помехи. Мне почему-то стало казаться, что изолятор сейчас – самое безопасное место в Доме, и безумный мальчишка, сидящий там, будто бы знает об этом и потому не особо стремится вырваться наружу, а смирно сидит, притаившись в ожидании кого-то. Или чего-то. Пожалуй, только лишь чувство долга перед профессией, да что там – перед жизнью, удерживает меня сейчас от поспешного сбора вещей и отбытия домой. Оно приковывает меня к этим рассыпанным по столу бумагам, к этим разбегающимся буквам.

Еще одно наблюдение, сплетенное из только что полученных ощущений: Дом, как бы это парадоксально ни звучало, так и не стал никому из нас домом, хотя бы вторым. Школу мы ненавидим, презираем, прогуливаем, но, думаю, мало кто будет отрицать, что за одиннадцать (в мое время – десять) лет у нас с ней налаживается энергетическая связь. Когда мы, прощаясь с ней, в последний раз проходим по ее коридорам, под потолками до сих пор как будто гуляет наш ребяческий смех, в кабинетах чувствуется то же напряжение перед диктантом, а за шкафчиками и сейчас хочется прижаться к дверцам сильнее, чтобы, не приведи Господь, не спалил какой-нибудь учитель. И все это волей-неволей привязывает к этим ненавистным сейчас, но любимым в вечности стенам. С Домом же все обстоит иначе. Находясь в нем, особенно в светлое время суток, ты не испытываешь ничего сверхъестественного, ничего такого, чтобы тяготило или отталкивало. Но только выйдешь за порог, как почувствуешь легкое, но облегчение, какое бывает, когда сходит на нет то незначительное напряжение внутри тебя, к которому ты привык или та легкая боль, которая стала частью полупрозрачной повседневности. Это блаженство тишины в квартире после долгой работы пылесоса. И это ощущение выявилось здесь у всех как бы невзначай, в ходе естественного циркулирования разговоров по отделу. На это же указывает и то обстоятельство, что сотрудники, уволенные или ушедшие по собственной инициативе, будто навсегда рассеиваются во внешнем мире, прерывая контакты любой близости с бывшими коллегами. У нас даже был случай, когда дело шло к свадьбе, но у будущего жениха сдали нервы, и он уволился. Бедняжка-девушка, до сих пор работающая у нас, видимо,

подверглась самой страшной из пыток в отношениях – постепенному выветриванию любимого человека из жизни. Об этом говорила еще долго читавшаяся в ее лице озадаченность, с которой человек в вагоне метро смотрит то на окружающих, то на схему в надежде понять, проехал ли он свою станцию или нет. В общем, любые отношения здесь, выходящие за рамки формальных, как школьная любовь до гроба, только поделенная на ноль.

Люди словно бы выздоравливают от заразы, живущей в каждом из подчиненных Дома (или подчиненных Дому) и сжигают все мосты, ведущие к зоне карантина, как раньше сжигали одежду и дома чумных. Кто-то выздоравливает, потому что уходит, вдохнув непривычно легкой грудью только за порогом Дома, кто-то уходит, потому что выздоравливает, однажды утром обнаружив в себе его тлетворные споры...

Усилием воли я впираю свой взгляд в бумаги, проглядываю страницу за страницей общих сведений о процессе задержания, универсальных почти для каждого дела, пробираясь к заветному последнему развороту. Здесь обычно указывают вещи, изъятые у задержанного и представляющие ценность для следствия. По правде говоря, иногда для составления полного отчета достаточно заглянуть именно в эту графу, дающую адрес ячейки в нашем отделе вещдоков. Но, как и при прошлом изучении, графа оказалась пустой. Испытывая немалое облегчение, я перевернул последний лист так, что открылась обратная сторона скрепленной степлером распечатки. И этот маленький торжествующий жест, какой многие из нас делают после прочтения толстой книги, привел меня к «сопутствующим материалам». Видимо, лист положили не той стороной перед скреплением. Видимо, секретари у нас столь же одаренные, что и люди с блокнотами на месте происшествия.

Не буду скрывать – сейчас во мне играет лишь желание смотаться отсюда поскорее. И все же адрес ячейки уже был у меня перед глазами, и от этого никуда не деться. Мне предстояло пройти по темному коридору мимо изолятора к ячейке «217». Если этот парень у нас задержится, должен признать, я мог бы стать настоящим асом челночного бега. В пакете на вакуумной застежке оказалась флешка. Краешки ее корпуса были прилично оплавлены, и, если бы я не знал обстоятельств дела, подумал бы, что пользователь пренебрег безопасным извлечением. Увидев ее, я уже почувствовал, что быстро я не отделаюсь. Что ж, так тому и быть, тем более что вся предстоящая ночь была в моем распоряжении. Ну, или я в ее.

В примечаниях к конфискату написали, что ни один видеофайл задержанным не был загружен в сеть и что флешку отдала его мама со словами, мол, она может быть полезна для следствия. На ней была всего одна папка под названием «видосы для блога», и с одной стороны я был рад от мысли совместить работу и развлечение, с другой – было немного жутко оказаться на этой импровизированной встрече подписчиков.

Немедля ни секунды, я выстроил видеофайлы по дате, поставил воспроизведение по порядку и нажал кнопку «play».

Pi-search_01.mp4

– Всем привет, – раздался неуверенный сипловатый голос, который до этого не мог вытянуть ни один из наших экспертов. – За окном вечер тринадцатого марта две тысячи восемнадцатого года, вторник. Забавно даже... я никогда не думал, что вот так вот буду сидеть перед монитором и говорить в неподвижный зрачок камеры. Вообще видеоблогинг, особенно хающий систему, – это когда ты строишь Вавилонскую башню вместе со всеми, но свои кирпичики ты украшаешь матерными словами. Но да ладно, это я так к сути дела не подберусь и к первому уроку. Все началось с того, что наткнулся я как-то в интернете... и нет, это не нативная реклама – у меня и канала-то своего пока нет, – эта судорожность в его речи сейчас ощущается как

горькая предпосылка к тому, что ныне происходит в соседней комнате за мягкими стенами. – Так вот, наткнулся я в интернете на сайт, где можно найти свое имя в числе Пи. Я думаю, не нужно объяснять, что в Пи после запятой идет бесконечное множество чисел. И если принять каждую цифру в нем за порядковый номер буквы в алфавите, можно найти целые слова, зашифрованные в числе Пи. Это же просто пи... – он обернулся на чуть приоткрытую дверь своей комнаты, за которой пульсировали голубые отблески телеэкрана. – Ну вы поняли – а то еще монетизацию снимут... Меня зовут Петя, но искал я «Петр», чтобы несколько усложнить машине задачу, – Петя (после того, как он назвался, я могу, наконец-то, называть его по имени) осекся, на пару секунд отведя глаза куда-то в сторону. – Да, я знаю, что у меня проблемы с математикой. Но в ней важнее любознательность, ведь так? – не дожидаясь ответа, он продолжил: – Мое имя начиналось с двадцать одна тысяча семьсот какого-то символа – точно уже не помню. Но не в этом суть. Означает ли наличие моего имени в Пи, что все Вани, Пети, Маши были вписаны в этот природный реестр, когда эти имена могли носить только динозавры? Но дальше – больше. А что, если в числе Пи можно найти не только отдельные слова или простые предложения, а, скажем, целый текст? Естественно, пока небольшой, страничка-две, но вы только представьте, какой это инфоповод! – в моменты такой риторической эйфории Петя поправлял длинную челку, выбивающуюся из темной мотни на его голове. – Писатель сгорал в муках творчества, страдал в нерешительности, но на деле он лишь механически следовал своему предназначению, а именно – показать миру кусочек Пи, пометив его своим именем. Это предположение наводит на некоторые мысли о происхождении самого слова «писатель», – Петя на несколько мгновений застыл, расплывшись в какой-то похабной улыбке и, видимо, ожидая оваций. – Или же писатель, как и любой творец, даже пищевых отходов, сам плетет бесконечное веретено числа Пи? Но ведь всю эту числовую бесконечность могли найти – чисто гипотетически – и задолго до появления всех великих текстов мировой литературы. И даже конвертер из чисел в буквы могли бы сварганить. Но в любом реестре можно что-то найти только в том случае, если знаешь, что искать. И потому писатели, поэты и прочие пьяницы и тунеядцы, в первую очередь, разгадывают генетический код мироздания, даже не осознавая того. Так очередной стартапер, разгадав ДНК общества, делает свой бизнес на недостающих в нем звеньях. Но что, если вся наша многовековая культура, то есть все то, что можно измерить словом или цифрой, на деле – пшик, иллюзия, морок, один большой придуманный насмех природе Пи, который мы прядками распутываем, как колтун? Прусь, дай ответ – не дает ответа... – видимо, привыкнув к отсутствию закадрового смеха, Петя продолжил: – Ладно, достаточно лирики – завтра в школу... – он завис, будто бы мысленно уже очутившись в ней, – где мы будем, как индусы-нелегалы на подпольной текстильной фабрике паленого «найка», плести ненасытное Пи... Но да ладно. Что ж... – Петя потянулся, воздев кверху сложенные в замок руки, – так как на том сайте нельзя искать больше одного слова, свое дело я начну с того, что возьму оттуда механику и интерфейс и сделаю из них что-то вроде утилиты с открытым кодом. Принцип работы будет тот же: преобразуешь текст в цифры типа А-1, Б-2 и так далее и ищешь нужное созвездие в космосе Пи. Осталось только текст выбрать. Ну, и учебники в рюкзаке покидать. Конец записи.

Pi-search_02.mp4

– Сегодня четырнадцатое марта, среда, я начал запись в двадцать тридцать семь, – Петя выглядел... ну, он выглядел как проигравший в драке со средой. – Не знаю, зачем я это говорю, тем более что время, когда я это записываю, показывает таймер в уголке экрана, который вам должно быть видно. Наверное, затем, что так делают в крутых заумных фильмах. Все-таки

вселенная – очень забавная штука. Сегодня на геометрии у нас был специальный урок по случаю дня числа Пи – в американской системе сегодняшняя дата записывается как 3.14. Такое, как мне раньше казалось, бывает только в тех самых крутых заумных фильмах. Но сегодня я узнал много нового. Пи – это не просто какая-то скучная математическая константа, оторванная от реальности. Пи – это отношение длины окружности к ее диаметру... – Петин голос, чем дальше, тем больше проваливался в зевке, становясь все глуше. – Короче, если вы упали на оживленную трассу и у вас есть время подумать о жизни, узнав высоту колеса мчащейся на вас машины, вы можете определить, насколько метров она приближается к вашей голове за полный оборот колес; а если это грузовик с метровыми покрышками, тут и гадать нечего – сразу кричите «Пи!», ведь длина отрезка, преодоленного за один оборот колеса, так относится к его диаметру, как три четырнадцать относится к одному.

Еще в древней Индии знали, что Пи примерно равно корню из десяти. Архимед смог определить первые два разряда после запятой, выведя формулу вычисления Пи вида $22/7$. Дальше были формулы Евклида, Виета, Валлиса, ряд Лейбница, но все они приоткрывали Пи лишь на несколько цифр в очень долгие сроки. Голландский ученый ван Цейлен потратил десять лет на вычисление двадцати цифр после запятой. Он завещал, чтобы эти цифры выгравировали на его надгробии. Но с развитием математического анализа счет пошел на тысячи, а с появлением компьютеров – на миллионы. Сейчас Пи вычисляют уже так, для научной забавы, однако забава, судя по тому, что вычислено уже десять триллионов символов после запятой, немного затянулась. Особенно, если учитывать, что для стабильной работы высокоточных телескопов достаточно и тридцати девяти. Что ж, в моем эксперименте мне это только на руку. И я даже сомневаюсь: а хватит ли мне этого? Время покажет.

Но чтобы перестраховаться, после урока я подошел к Настасье Петровне, мы поговорили. Оказывается, есть какая-то формула братьев Чудновских, с помощью которой Пи можно вычислять и на домашнем компьютере. Скорость вычисления зависит от производительности машины, но с ней проблем не будет. Хоть где-то подсобила моя детская игровая зависимость. Я вошью эту формулу в мой «П-браузер», чтобы при случае расширить простор для поиска. О своей идее я пока предпочел Настасье Петровне не рассказывать. Если все получится, пусть это будет сюрпризом, а если нет, то и нечего воздух колыхать. А вот кому я рассказал, так это Полине...

Здесь стоит прерваться, чтобы разъяснить: Полина – это девушка Пети. Они учились в одном классе. И все эти несколько дней, что Петя пребывает здесь, она приезжает его навещать. Видеться с пребывающими в изоляторе не позволяют правила, и потому Полина Павловна неустанно осаждает нас вопросами об изменениях в самочувствии Пети. Нам приходится, глядя в ее полные трогательной твердости глаза, врать о положительной динамике, но, когда она подходит к маленькому окошку в его двери, эта ложь, хоть и на время, становится правдой. Что-то в Пете преобразается, когда он, мотая головой, улавливает взгляд ее влажных серых глаз. Он как бы осекается, будто его поймали за чем-то постыдным и глупым, и тогда он складывает руки на груди, словно самостоятельно заковывая себя в смирительную рубашку, и впирает напряженный взгляд в стену напротив, изредка крадясь им к двери. Продолжим просмотр.

– Она меня внимательно выслушала, а потом сказала, что, если я не знаю, как еще увеличить ежемесячный счет за электричество, мне стоит превратить свой компьютер в криптоферму – хотя бы польза от этого будет. В ответ на мои слова о том, что это число говорит с нами и нам просто нужно его услышать, Полина посмотрела на меня уже без смешинки во взгляде и спросила: «Ты знаешь, куда попадают люди, которые говорят с числами?». Что ж, теперь я хотя бы знаю, что мне искать. Это будет Чеховская «Палата №6». Да, я понимаю, что это далеко не одна-две странички, но я тут подумал: а к чему мельчить? С Полиной я согласен в одном – эксперимент действительно безумный. И потому нет у меня времени на разминку

– тут либо пан, либо пропал, – сказал эти последние слова Петя с немного настораживающей рассудительностью и хладнокровием. – Дело за конвертацией текста и поиском десяти триллионов знаков Пи где-то в дебрях Даркнета. Это сродни поиску стога сена в иголке. До связи.

Pi-search_03.mp4

Перед камерой показался один только овал лица Пети, выхватываемый из темноты сероголубым светом монитора.

– Сегодня семнадцатое марта, суббота, стрелки часов чуть перевалили за три ночи. В квартире все уже спят, поэтому шепотом. Думаю, если эксперимент не удастся и все пойдет насмарку, хотя бы эта запись подарит незабываемые минуты любителям ASMR, – Петя тихонько усмехнулся. – Мне потребовалось некоторое время, чтобы написать сам «Пи-браузер», вшить в него формулу Чудновских и добавить конвертер из букв в цифры. Ну, если быть честным, не мне, а моему брату-программисту. И давайте проясним все начала, ну, или почти сначала: когда я говорю про свои действия в вопросах сложных математических и софтовых операций, речь идет о моем брате. И я бы мог назвать себя мозгом, а его – руками, если бы в реальности и то, и другое не принадлежало только ему. Скажем так: он – мозг и руки, а я – идея. Лишних вопросов он не задавал, а изложить свой замысел я не потрудился. Надеюсь удивить и его в том числе. Но не увидеть его в том числе – это было бы жутко, – Несколько секунд было слышно только тихое гудение компьютера, заменявшее, по-видимому, стрекот сверчков. – Если серьезно, мои суеверия не позволяют мне без страха говорить о еще не сделанной работе. «Пи-браузер» полностью готов к работе, хоть, на радость мировым IT-компаниям, еще не запатентован. Я супер-дупер сурьезен, как говорил Эл Гор из «Южного парка», и потому считаю крайне важным начать этот поиск, сопоставимый по значению для всего человечества разве что с запуском спутников «Челленджер», бороздящих открытый космос в поисках неземной жизни, именно в три часа четырнадцать минут. Что ж, довольно высокопарностей, в добрый путь!

Pi-search_04.mp4

– Я нашел ее. Очень далеко, на самой границе, – как-то отстраненно сипел Петя. В научном экстазе он даже забыл каноны крутых заумных фильмов, так что поясню: запись датируется тремя часами ночи субботы двадцать четвертого марта, так что света опять можно было не ждать. – Неделя поиска, и я нашел ее, «Палату №6», – его руки потянулись к камере, после чего комната завертелась и показался экран монитора. Весь он был заполнен мелкими, едва различимыми значками и поделен надвое. В левой его части был открыт «Блокнот» с высокой, уходящей далеко вниз, за границу экрана, стеной цифр, в которую, видимо, превратилась «Палата», правая же вся была плотно усеяна крошечными черными точками на белом фоне. Эта карта звездного неба в негативе стала увеличиваться, и среди черных точек показалась одна желтая. Она стала распускаться, словно подсолнух, раскрывая все шире маленькие семечки цифр, и в следующее мгновение она оказалась огромным, не умещающимся в монитор числовым полотном с желтым фоном. – Все сходится до последнего знака, – шепотом комментировал Петя. Камера сильно тряслась, по-видимому, тоже охваченная тихим восторгом, так что пришлось просто поверить ему на слово. – Я чувствую, это начало чего-то большего. Скоро все изменится. До связи.

Pi-search_05.mp4

– Всем привет, сейчас вечер понедельника двадцать шестого марта, – Выглядел Петя слишком бодро для понедельника, так что я даже сверился с датой в углу экрана – он не врал. – Я извиняюсь за тот пафос и ту таинственность, которой я окутал прошлую запись, но думаю, вы были удивлены не меньше моего. Итак, сегодня после урока геометрии я показал, так сказать, находку Настасье Петровне, попутно рассказав ей суть эксперимента. Она женщина... как бы сказать... не очень поворотливая, но я не думал, что это распространяется на ее профессию – числа. Честно, я пытался объяснить все как можно более доходчиво, да и объяснять тут нечего, – фыркнул внезапно возмущившийся Петя: – в числе Пи зашифрована «Палата»! Но по каким-то неведомым мне причинам Настасья Петровна лишь шурилась на отдельные числа, копалась в безжизненных частностях, не забывая продемонстрировать свое превосходство надо мной в вопросах науки и будто вовсе не замечая самой находки. Когда я сказал прямо в лоб, мол, «вот, разве вы не видите чеховскую «Палату» в Пи?», она назвала мое поведение ненаучным, причем таким тоном, каким обычно пресекает баловство или хамство на уроке. Не знаю, в чем тут дело, но, видимо, двойку за дз на сегодняшний день она не собирается исправлять. Затем я подошел к Пелагее Ивановне, нашей учительнице по литературе. Углубляться в формулы и конвертации я не стал, объясняя все так, как бы я объяснял самому себе. Глаза Пелагеи Ивановны временами округлялись, что я, не без удовольствия, счел за восторг, однако, когда я закончил с объяснениями, она с некоторой неловкостью поднялась из кресла и попятилась к выходу из класса, заслоняясь словами восхищения, мол, какой я большой молодец и вообще открытие совершил, только ей надо бежать на совещание. В следующий момент я остался один в классе, стоя перед учительским столом. И... – тянул Петя, явно ломаясь, говорить ли то, к чему уже вплотную подвел, – я воспользовался случаем. Я залез в ее компьютер и перекинул на флешку программу, в которой Пелагея Ивановна проверяет наши сочинения на плагиат. И если вы смотрите это, Пелагея Ивановна, не сердитесь, пожалуйста – все на благо науки! – по всем канонам подобных обращений, адресата оно могло только еще больше разъярить. – Зачем мне эта программа, я расскажу чуть позже. Полине я все показал уже после уроков. Пожалуй, только она одна меня сегодня выслушала. Пришлось долго показывать, что к чему, но не потому, что ее внимание было отвлечено самолюбованием или совещанием, а в силу того, что она не могла до конца поверить, что такое вообще возможно. Но вместе с осознанием в ее взгляде я увидел еще что-то... настороженность что ли. Не знаю, возможно, мне показалось. Сегодня она как-то особенно сильно настаивала на том, чтобы провести время вместе. Это странно, потому что по понедельникам после школы у нее вокал. В любом случае, мне пришлось отказаться – предстоит еще много работы, – с видимым даже через монитор усилием Петя собрался с мыслями: – Я намерен закрепить, а может, и улучшить результат, но не количественно, а качественно. Искать «Войну и мир» было бы предсказуемо. К тому же, как мы знаем, чтобы воссоздать ее, достаточно посадить миллион обезьян за миллион пишущих машинок, а для детективов Дарьи Донцовой так и вообще одной будет достаточно, – судя по тому, что при обыске Петинной комнаты следов творчества Дарьи Донцовой обнаружено не было, можно заключить, что мнение о ее бездарности Петя принимал на веру. – Также у меня нет желания искать таких титанов, как «Архипелаг ГУЛАГ» или «Властелин Колец», потому что первое можно найти, просто выйдя на улицу, а второе – включив новости об этой самой улице. Когда я говорю о качественном приросте, я подразумеваю поэзию. Конечно, найденную цифровую строку надо будет нарезать на четверостишия, но вы только представьте: ведь поэзия – это совершенно другая природа, звуки совершенно иных лир; там же царство тончайшей

гармонии формы и смысла, ритмики и мелодики! Стихи – это же настоящие ноты! И это я вам как неудавшийся поэт говорю, – последовавшая за этими словами горькая улыбка говорит мне, неудавшемуся психологу, об угрызениях совести, какие он испытывал, опошляя публичностью свою еще свежую рану. – Когда мне пришла эта мысль, почему-то сразу возникла ясность, что искать. Ну конечно, это «Пророк» Пушкина, – одобрительно воскликнул Петя после небольшой паузы, словно он был ведущим телевикторины. И я не удивлюсь, если в Пи окажется описание становления поэта и его роли в миропорядке. Это было бы даже логично. Такой своего рода мануал для тестировщиков нового расширения Пи, которым предлагается промо-тур с последующим накаливанием людских процессоров. Что ж, попробую не подпасть свой. Тем более что сейчас придется задействовать все его вычислительные мощности – здесь нам не обойтись без раскрытия новых широт Пи, как невозможно их упустить, когда есть кнопка «Подробнее» рядом с новостью, – не дождавшись зрительской реакции на свою шутку, Петя закончил запись.

Pi-search_06.mp4

– Эм... привет. В общем...

Петя выглядел, как посетитель ресторана «Мариот», пытающийся объяснить официанту, что кошелек он забыл дома, потому, я считаю, можно было понять пропуск научных формальностей. На дворе за экраном было тридцать первое марта, вечер, то есть прошла еще одна неделя, но, судя по глазам и цвету лица Пети, бесплодно.

– Скажем так, наш болид покинул обозримые просторы и уткнулся в скоростное ограничение. И чтобы снова выехать на автобан, нужно немного смазать цилиндры мотора, а еще лучше – заменить его. Я что-нибудь обязательно придумаю, а пока – до связи.

Pi-search_07.mp4

Скажу заранее, датируется первым апреля.

– Говорит капитан корабля. Итак, проблема решена, корабль переоснащен, и мы снова готовы к дальним странствиям! – несмотря на всю эту наигранность и фигуральность его речи, Петя выглядел клоуном при исполнении, который перед самым выходом на сцену узнал, раз, о смерти жены, два, – что корпоратив у пидарасов.

И тут я кое-что заметил. Чтобы подтвердить свое предположение, я открыл предыдущую запись и сравнил. Да, мне действительно не показалось. Раньше я не обращал внимания на задний план, ибо он не отличался высокой художественностью: настенные часы, стилизованные под оранжевый цветок с летающими вокруг него пчелками-стрелками. «Да, вот почему надо вовремя съезжать от родителей» – подумал я. Чуть ниже торчала одна только спинка синего, цвета надвигающегося дождевого шквала, дивана. Сбоку от него – с левого или правого – вопрос затруднительный в силу пространственных коллизий – раньше выглядывали два гитарных грифа, оба с узнаваемой даже издали надписью «Fender», однако один принадлежал электрогитаре, а второй, исходя из его толщины – акустической. Но на последней просмотренной записи видно – птичка лишилась одного крыла, видимо, уповая на аэродинамические свойства Серафима, который все никак не хочет являться на Пи-репуте.

Pi-search_08.mp4

Сразу хочу оговориться, что не знаю, умышленно ли тогда шла запись или нет, но, судя по титульному кадру видео, нас ожидала серьезная драма. Петя сидел за столом, обеими руками держа, кажется, сильно потяжелевшую голову, прикрыв глаза пальцами.

Запись шла несколько минут, однако кадр оставался статичным. Можно было подумать о зависании, если бы не прерывистое жужжание пчелок, совершающих свой ежеминутный полет. Хоть и сознание, напичканное плохими ужастиками, предательски вырисовывало сюжеты с внезапным подъемом головы, я позволил себе отвлечься на кружку остывшего чая. И как раз в этот момент Петя нарушил эту ровно нарезанную тишину своим голосом. Как человек здраво-мыслящий (по меркам Дома уж точно) я понимаю, что надлежащих красок для описания того спокойного, траурного отчаяния, которым были проникнуты его слова, у меня не найдется, поэтому предоставляю это акулам литературного бизнеса. Могу лишь передать его слова, да и то неточно, потому что Петин рот, подсказывают мне мои детские слезы, онемел от горечи. Кажется, он сказал: «Все потеряно. Все сгорело». Между двумя этими предложениями звучала или, правильнее сказать, жужжала значительная тишина, однако мне, как Маяковскому, никто не платит построчно, поэтому тут полагаюсь на вашу фантазию. Слова канули в тишину так же быстро, как вода, выброшенная волной и ушедшая в песок. И уверяю вас – это не пустое сравнение. Слова ушли в зернистую тишину, зерно которой произрастает из дешевого микрофона. Но приглядевшись, я понял, что не только звук теперь страдал от дефектов. Изображение едва ощутимо, но все же чуть больше дробилось теперь на ровные квадраты. Эти изменения, присущие только этой записи, в купе с немногословным выводом потерпевшего позволяют заключить, что если сгорело и не все, то, по крайней мере, Петин компьютер точно, а запись ведется предположительно с ноутбука. По шее одного лебедя медленно сползла капелька, сверкавшая холодной белизной экрана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.